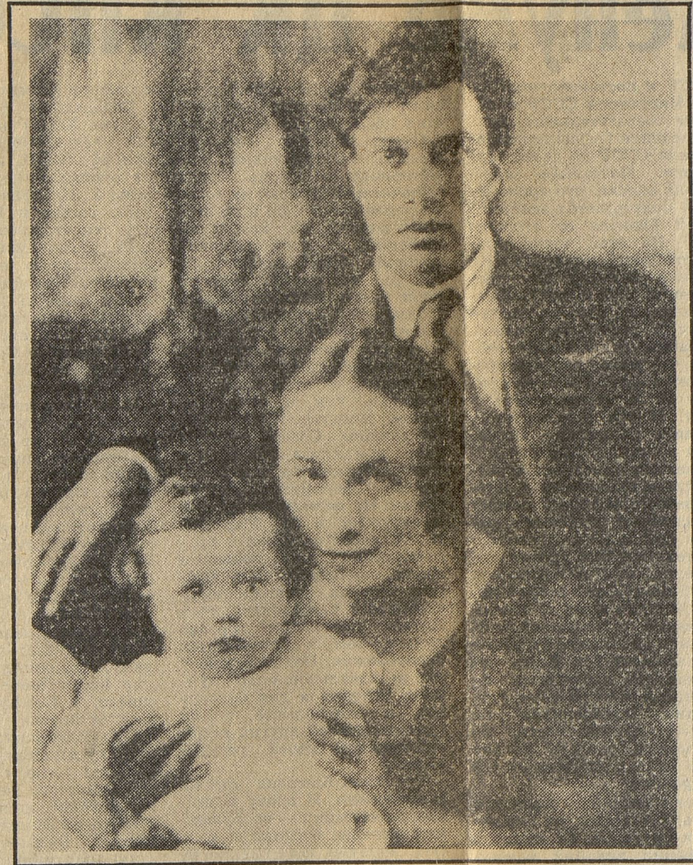
Пастернак Б. Л.

9/II 90

СОВЕТСКАЯ РОССИЯ ● 9 февраля 1990 г. ● № 34 (10185) ●



НА СНИМКЕ: Борис Пастернак с женой Е. В. Пастернак и сыном Женей, сентябрь 1924 года.

Борис ПАСТЕРНАК:

ДАРОВАНИЕ УЧИТ ЧЕСТИ И БЕССТРАШИЮ

Из автобиографических записей

Нынче широкая общественность нашей страны отмечает столетие со дня рождения Бориса Пастернака (1890—1960). Сын известного художника, академика живописи Л. О. Пастернака, и пианистки Р. И. Кауфман, он с детства жил в атмосфере искусства, встречался со многими выдающимися людьми русской культуры. С тринадцати лет Борис Пастернак посвящает себя изучению музыки, занимается даже композицией. Но затем, в 1909 году, неожиданно поступает в Московский университет, чтобы получить философское образование. Примерно в это же время окончательно определяется его призвание — служение литературе. На него оказывают влияние встречи со многими известными поэтами того времени — и среди них, конечно, Александр Блок и Андрей Белый, его сверстники Владимир Маяковский и Николай Асеев... Крупнейшее событие в его творческой жизни—создание в 1917 году поэтической книги «Сестра моя — жизнь» (опубликована в 1922 году). Затем появляются его эпические произведения «Высокая болезнь», «Девятьсот пятый год», «Лейтенант Шмидт»... В 20-х — первой половине 30-х годов поэтическая слава Б. Пастернака достигает зенита: его охотно издают, о нем много пишут, признавая высоту таланта.

Наряду с поэзией Б. Пастернак обращается и к прозе: первые опыты в которой относятся к 1918 году (он пишет большой роман, часть которого под названием «Детство Люверс» была опубликована в 1922 году), а через три года выходит сборник «Рассказы» («Апеллесова черта», «Письма из Тулы», «Воздушные пути» и другие, 1925 г.). Затем отдельными книжками издаются «Повесть» и «Охранная грамота».

После 1935 года, когда поэт написал письмо Сталину, прося за арестованного мужа Анны Ахматовой — Н. Н. Пунина и ее сына — Л. Н. Гумилева, наступают трудные годы в его биографии. Он почти полностью отдается переводам Шекспира, Гёте, Шиллера, Клейста, Рильке, Верлена, Николоза Бараташвили и других поэтов. Работает над рассказами, повестями, автобиографическими записями, считая прозу главным своим делом. Зимой 1945/1946 годов он начинает работу над романом «Доктор Живаго», который в 1957 году был издан в Италии. Хотя публикация романа ожидалась в «Литературной Москве» и «Новом мире» (после выхода романа в Италии московские журналы вернули рукопись автору. Пастернак предупреждал итальянского издателя: «Если публикация здесь, обещанная многими журналами, задержится и вы ее опередите, ситуация для меня будет трагически трудной» — так и произошло). В связи с присуждением писателю Нобелевской премии по литературе за 1958 год началась известная кампания против автора «Доктора Живаго», на тридцать лет предрешившая судьбу его книги на Родине... В газете «Правда» он писал в 1958 году: «Когда я увидел, какие размеры приобретает политическая кампания вокруг моего романа — я по собственному побуждению, никем не принуждаемый, послал свой добровольный отказ...».

И вот в декабре минувшего года в Стокгольме в торжественной обстановке и при участии представителей нашей страны его сыну — Евгению Пастернаку — была вручена Нобелевская медаль отца.

...Творчество Бориса Леонидовича Пастернака широко известно советским читателям. Многократно издавались его однотомники стихов и поэм, прозаические произведения. В 1985 году вышел двухтомник, включавший также прозу. Роман «Доктор Живаго» вышел отдельным изданием в 1989 году, а до этого — в журнале «Новый мир», а также в двух книгах в издательстве «Вага» (Вильнюс). В этом, юбилейном, году впервые начинает выходить его пятитомное собрание сочинений. Фрагменты из автобиографических произведений, заметок и писем Б. Пастернака, которые мы публикуем сегодня, дают представление о детстве, первых увлечениях и жизни поэта в искусстве, заставляя вспомнить строки Анны Ахматовой:

Он награжден каким-то вечным детством,
Той щедростью и зоркостью светил,
И вся земля была ему наследством,
А он ее со всеми разделил.

Кстати, именно эти слова открывают юбилейную выставку поэта «Мир Пастернака», которая развернута в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Л. ВИНЧИ.

* * *

Я РОДИЛСЯ в Москве 29 января 1890 года по старому стилю в доме Лыжина, против Духовной семинарии, в Оружейном переулке. Необъяснимым образом что-то запомнилось из осенних прогулок с кормилицей по семинарскому парку. Размокшие дорожки под кучами опавших листьев, насыпные горки и крашеные рогатки семинарии, игры и побоища гогочущих семинаристов на больших переменах.

Прямо напротив ворот семинарии стоял каменный двухэтажный дом с двором для извозчиков и нашею квартирой над воротами, в арке их сводчатого перекрытия.

Когда мне было три года, переехали на казенную квартиру при доме Училища живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой против Почтамта. Квартира помещалась во флигеле внутри двора, вне главного здания... В подвале внизу отпускали горячие завтраки учащимся. На лестнице стоял вечный чад пирожков на сале и жареных котлет. На следующей площадке была дверь в нашу квартиру...

Вот что я прочел пятьдесят лет спустя... в книге Н. С. Родионова «Москва в жизни и творчестве Л. Н. Толстого» на странице 125-й, под 1894 годом:

«23 ноября Толстой с дочерьми ездил к художнику Л. О. Пастернаку в дом Училища живописи, ваяния и зодчества, где Пастернак был директором, на концерт, в котором принимали участие жена Пастернака и профессора Консерватории скрипач И. В. Гржимали и виолончелист А. А. Брондуков».

Тут все верно, кроме одной ошибки. Директором Училища был князь Львов, а не отец.

Записанную Родионовым ночь я прекрасно помню. Посреди нее я проснулся от сладкой, щемящей муки, в такой мере ранее не испытанной. Я закричал и заплакал от тоски и страха. Но музыка заглушала мои слезы, и только когда разбудившую меня часть трио доиграли до конца, меня услышали. Занавеска, за которой я лежал и которая разделила комнату надвое, раздвинулась. Показалась мать, склонилась надо мной и быстро меня успокоила. Наверное, меня вынесли к гостям, или, может быть, сквозь раму открытой двери я увидел гостиную. Она полна была табачного дыма. Мигали ресницами свечи, точно он ел им глаза. Они ярко освещали красное лакированное дерево скрипки и виолончели. Чернел рояль. Чернели сюртуки мужчин. Дамы до плеч высовывались из платьев, как именинные цветы из цветочных корзин. С кольцами дыма сливались седины двух или трех стариков. Одного я потом хорошо знал и часто видел. Это был художник Н. Н. Ге. Образ другого, как у большинства, прошел через всю мою жизнь, в особенности потому, что отец иллюстрировал его, ездил к нему, почитал его и что его духом проникнут был весь наш дом. Это был Лев Николаевич Толстой.

Отчего же я плакал так и так памятно мне мое страдание? К звуку фортепиано в доме я привык, на нем артистически играла моя мать. Голос рояля казался мне неотъемлемой принадлежностью самой музыки. Тембры струнных, особенно в камерном соединении, были мне непривычны и встревожили, как действительные, в форточку снаружи донесшиеся зовы на помощь и вести о несчастьи.

То была, кажется, зима двух кончин—смерти Антона Рубинштейна и Чайковского. Вероятно, играли знаменитое трио последнего.

Эта ночь межевой вехой пролегла между беспамятностью младенчества и моим дальнейшим детством...

* * *

ВЕСНОЙ в залах Училища открывались выставки передвижников. Выставку привозили зимой из Петербурга... Служащие Училища вскрывали ящики, отвинчивали картины в тяжелых рамах от ящичных низов и крышек и по двое на руках проносили через двор на выставку. Примостясь на подоконниках, мы жадно за ними следили. Так прошли перед нашими глазами знаменитейшие полотна Репина, Мясоедова, Маковского, Сурикова и Поленова, добрая половина картинных запасов нынешних галерей и государственных хранений.

Близкие отцу художники и он сам выставлялись у передвижников только в начале, и недолго. Скоро Серов, Левитан, Коровин, Врубель, Иванов, отец и другие составили более молодое объединение—«Союз русских художников»...

* * *

...Солнце вставало из-за Почтамта и, соскальзывая по Кисельному, садилось на Неглинке. Вызолотив нашу половину, оно с обеда перебиралось в столовую и кухню... Из той же кухни проводилась отправка в Петербург замечательных отцовских иллюстраций к толстовскому «Воскресению». Роман по мере окончательной отделки глава за главой печатался в журнале «Нива» у петербургского издателя Маркса. Работа была лихорадочной. Я помню отцову спешку. Номера журнала выходили регулярно, без опоздания. Надо было поспеть к сроку каждого.

Толстой задерживал корректуры и в них все переделывал. Возникала опасность, что рисунки к начальному тексту разойдутся с его последующими изменениями. Но отец делал зарисовки там же, откуда писатель черпал свои наблюдения,— в суде, пересыльной тюрьме, в деревне, на железной дороге. От опасности отступлений спасал запас живых подробностей, общность реалистического смысла.

...С наступлением нового века на моей детской памяти мановением волшебного жезла все преобразилось. Москву охватило деловое неистовство первых мировых столиц. Бурно стали строить высокие доходные дома на предпринимательских началах быстрой прибыли. На всех улицах к небу поднялись незаметно выросшие кирпичные гиганты. Вместе с ними, обгоняя Петербург, Москва дала начало новому русскому искусству — искусству большого города, молодому, современному, свежему...

...Я учился в университете. Я читал Гегеля и Канта. Времена были такие, что в каждую встречу с друзьями разрезались бездны, и то один, то другой выступал с каким-нибудь новоявленным откровением... Я давал несколько грошовых уроков, чтобы не брать денег у отца. Летом, с отъездом наших, я оставался в городе на своем иждивении. Иллюзия самостоятельности достигалась такой умеренностью в пище, что ко всему присоединялся еще и голод и окончательно превращал ночь в день в пустопорожней квартире. Музыка, прощание с которой я только еще откладывал (Пастернак всерьез занимался музыкой и композицией у композитора Р. Глиэра.— Ред.), уже переплеталась у меня с литературой. Глубина и прелесть Белого и Блока не могли не открыться мне. Их влияние своеобразно сочеталось с силой, превосходящей простое невежество. Пятнадцатилетнее воздержание от слова, приносившегося в жертву звуку, обрекало на оригинальность...

* * *

ВТО ВРЕМЯ и много спустя я смотрел на свои стихотворные опыты как на несчастную слабость и ничего хорошего от них не ждал. Был человек, С. Н. Дурылин, уже и тогда поддерживавший меня своим одобрением. Объяснялось это его беспримерной отзывчивостью. От остальных друзей, уже видевших меня почти ставшим на ноги музыкантом, я эти признаки нового несовершеннолетья тщательно скрывал...

Музыку, любимый мир шестилетних трудов, надежд и тревог, я вырвал вон из себя, как расстаются с самым драгоценным. Некоторое время привычка к фортепианному фантазированию оставалась у меня в виде постепенно пропадающего навыка. Но потом я решил проводить свое воздержание круче, перестал прикасаться к роялю, не ходил на концерты, избегал встреч с музыкантами.

...В бумагах отца остались наброски: в агитаторшу, говорившую с балкона, снизу стреляют налетевшие на толпу драгуны. Ее ранят, она продолжает говорить, хватаясь за коленку, чтобы не упасть.

В конце 1905 года в Москву, охваченную всеобщей забастовкой, приехал Горький. Стояли морозные ночи. Москва, погруженная во мрак, освещалась кострами. По ней, повизгивая, летели шальные пули и бешено носились конные казачьи патрули по бесшумному, пешеходами не топтанному, девственному снегу.

Отец виделся с Горьким по делам журналов политической сатиры — «Бича», «Жупела» и других, куда тот его приглашал.

Вероятно, тогда или позже, после годичного пребывания с родителями в Берлине, я увидел первые в моей жизни строки Блока...

* * *

С Блоком прошли и провели свою молодость я и часть моих сверстников... У Блока было все, что создает великого поэта,— огонь, нежность, проникновение, свой образ мира, свой дар особого, все претворяющего прикосновения, своя сдержанная, скрадывающаяся, вобравшаяся в себя судьба. Из этих качеств и еще многих других остановлюсь на одной стороне, может быть, наложившей на меня наибольший отпечаток и потому кажущейся мне преимущественной,—на блоковской стремительности, на его блуждающей пристальности, на беглости его наблюдений.

Свет в окошке шатался.
В полумраке — один —
У подъезда шептался
С темнотой арлекин.
. . . . . .
По улицам метель метет,
Свивается, шатается,
Мне кто-то руку подает
И кто-то улыбается.
. . . . . .
Там кто-то машет, дразнит светом,
Так зимней ночью на крыльцо
Тень чья-то глянет силуэтом,
И быстро скроется лицо.
. . . . . .

Прилагательные без существительных, сказуемых, без подлежащих, прятки, взбудораженность, юрко мелькающие фигурки, отрывистость — как подходил этот стиль к духу времени, таившемуся, сокровенному, подпольному, едва вышедшему из подвалов, объяснявшемуся языком заговорщиков, главным лицом которого был город, главным событием — улица.

Эти черты проникают существо Блока. Блока основного и преобладающего, Блока второго тома алконостовского издания. Блока «Страшного мира», «Последнего дня», «Обмана», «Повести», «Легенды», «Митинга», «Незнакомки», стихов «В туманах, над сверканьем рос», «В кабаках, в переулках, в извивах», «Девушка пела в церковном хоре».

Черты действительности, как током воздуха, занесены вихрем блоковской впечатлительности в его книги. Даже самое далекое, что могло бы показаться мистикой, что можно бы назвать «божественным». Это тоже не метафизические фантазии, а рассыпанные по всем его стихам клочки церковно-бытовой реальности, места их ектеньи, молитвы перед причащением, и панихидных псалмов, знакомые наизусть и сто раз слышанные на службах.

Суммарным миром, душой, носителем этой действительности был город блоковских стихов, главный герой его повести, его биографии.

Этот город, этот Петербург Блока — наиболее реальный из Петербургов, нарисованных художниками нового времени. Он до безразличия одинаково существует в жизни и в воображении, он полон повседневной прозы, питающей поэзию драматизмом и тревогой, и на улицах его звучит то общеупотребительное, будничное просторечие, которое освежает язык поэзии.

В то же время образ этого города составлен из черт, отобранных рукою такою нервною, и подвергся такому одухотворению, что весь превращен в захватывающее явление редчайшего внутреннего мира.

* * *

Я ИМЕЛ случай и счастье знать многих старших поэтов, живших в Москве,— Брюсова, Андрея Белого, Ходасевича, Вячеслава Иванова, Балтрушайтиса. Блоку я впервые представился в его последний приезд в Москву... Блок был приветлив со мной, сказал, что слышал обо мне с лучшей стороны, жаловался на самочувствие, просил отложить встречу с ним до улучшения его здоровья.

В этот вечер он выступал с чтением своих стихов в трех местах: в Политехническом, в Доме печати и в обществе Данте Алигьери, где собрались самые ревностные его поклонники и где он читал свои «Итальянские стихи».

На вечере в Политехническом был Маяковский. В середине вечера он сказал мне, что в Доме печати Блоку под видом критической неподкупности готовят бенефис, разнос и кошачий концерт. Он предложил вдвоем отправиться туда, чтобы предотвратить задуманную низость.

Мы ушли с блоковского чтения, но пошли пешком, а Блока повезли на второе выступление в машине, и пока мы добирались до Никитского бульвара, где помещался Дом печати, вечер кончился, и Блок уехал в общество любителей итальянской словесности. Скандал, которого опасались, успел тем временем произойти. Блоку после чтения в Доме печати наговорили кучу чудовищностей, не постеснявшись в лицо упрекнуть его в том, что он отжил и внутренне мертв, с чем он спокойно согласился. Это говорилось за несколько дней до его действительной кончины.

* * *

...Случай столкнул нас на следующий день под тентом греческой кофейни. Большой желтый бульвар лежал пластом, растянувшись между Пушкиным и Никитской... Я увидел Маяковского издали... Он играл с Ходасевичем в орел и решку. В это время Ходасевич встал и, заплатив проигрыш, ушел из-под навеса по направлению к Страстному. Маяковский остался один за столом. Мы вошли, поздоровались с ним и разговорились. Немного спустя он предложил кое-что прочесть.

...Это была трагедия «Владимир Маяковский», тогда только что вышедшая. Я слушал, не помнил себя, всем перехваченным сердцем, затая дыхание. Ничего подобного я раньше никогда не слыхал.

Здесь было все. Бульвар, собаки, тополя и бабочки. Парикмахеры, булочники, портные и паровозы. Зачем цитировать? Все мы помним этот душный таинственный летний текст, теперь доступный каждому в десятом издании.

Вдали белугой ревели локомотивы. В горловом краю его творчества была та же безусловная даль, что на земле, тут была та бездонная одухотворенность, без которой не бывает оригинальности, та бесконечность, открывающаяся в любой точке жизни, в любом направлении, без которой поэзия — одно недоразумение, временно не разъясненное.

И как просто было это все. Искусство называлось трагедией. Так и следует ему называться. Трагедия называется «Владимир Маяковский». Заглавье скрывало гениально простое открытье, что поэт не автор, но — предмет лирики, от первого лица обращающейся к миру. Заглавье было не именем сочинителя, а фамилией содержанья.

Собственно, тогда с бульвара я и унес его всего с собою в свою жизнь...

...Я не буду описывать моих отношений с Маяковским. Между нами никогда не было короткости... Я не буду приводить истории наших встреч и расхождений... Как я уже сказал, нашу близость преувеличивали. Однажды во время обострения наших разногласий, у Асеева, где мы с ним объяснялись, он с обычным мрачным юмором так определил наше несходство: «Ну что же. Мы действительно разные. Вы любите молнию в небе, а я — в электрическом утюге»...

* * *

КАКОЕ же это было искусство? Это было молодое искусство Скрябина, Блока, Комиссаржевской, Белого — передовое, захватывающее, оригинальное. И оно было так поразительно, что не только не вызывало мыслей о замене, но, напротив, его для вящей прочности хотелось повторить с самого основания, но только еще живее, горячей и цельнее. Его хотелось пересказать залпом, что было без страсти немыслимо, страсть же отскакивала в сторону, и таким путем получалось новое. Однако новое возникало не в отмену старому, как обычно принято думать, но совершенно напротив, в восхищенном воспроизведении образца. Таково было искусство.

* * *

Мне кажется, натурою, которой должен следовать в своем постсении театр, может быть только **воображенье**, воображенье в целом, его строй, его неповторимая, вся напролет, сплошной особенностью бегущая мускулатура. Говоря проще через среду воображенья все искусства тяготеют к идеальной сцене и иногда, и очень редко, на нее попадают.

Я помню несколько постановок Станиславского, тринадцати лет попав на несколько дней в Петербург, вечер за вечером ходил к Комиссаржевской, я смотрел Чехова, я их неоплатный должник...

Когда меня касается дыханье истинного дара, оно превращает меня в совершенного мальчика, ничем не искушенного, я беззаветно привязываюсь к произведенью, робею его автора, точно никогда не жил и жизни не знаю, и чаще меры тянусь за носовым платком. Когда прокатывается волна этой первой непосредственности и я начинаю отдавать себе отчет в происшедшем, то, замечательно, на меня всегда начинают действовать родовые общности, сказавшиеся в произведении, законы, его сложившие, широчайшие человеческие секреты, которым оно обязано своим обаяньем. Странно, но, очевидно, со вниманьем я умею относиться только к тому, что его не заслуживает. Все же стоящее делает меня невнимательным дважды: сперва тем, что оно потрясает меня, а потом тем, что толкает на размышленья, отвлекающие от его частностей. Но я рад этой черте и не хотел бы жить иначе.

* * *

...Дарование учит чести и бесстрашию, потому что оно открывает, как сказочно много вносит честь в общедраматический замысел существования. Одаренный человек знает, как много выигрывает жизнь при полном и правильном освещении и как проигрывает в полутьме. Личная заинтересованность побуждает его быть гордым и стремиться к правде. Эта выгодная и счастливая позиция в жизни может быть и трагедией, это второстепенно.

* * *

...Мне теперь кажется, что, может статься, человечество всегда на протяжении долгих спокойных эпох таит под бытовой поверхностью обманчивого покоя, полного сделок с совестью и подчинения неправде, большие запасы высоких нравственных требований, лелеет мечту о другой, более мужественной и чистой жизни и не знает о своих тайных замыслах и их не подозревает.

Но стоит только поколебаться устойчивости общества, достаточно какому-нибудь стихийному бедствию или военному поражению пошатнуть прочность обихода, казавшегося неотменимым и вековечным, как светлые столбы тайных нравственных залеганий чудом вырываются из-под земли наружу.

Люди вырастают на голову и дивятся себе, и себя не узнают —люди оказываются богатырями...

* * *

В минуту, которая казалась последнею в жизни, больше, чем когда-либо до нее, хотелось говорить с богом, славословить видимое, ловить и запечатлевать его. «Господи,— шептал я,— благодарю тебя за то, что ты кладешь краски так густо и сделал жизнь и смерть такими, что твой язык — величественность и музыка, что ты сделал меня художником, что творчество — твоя школа, что всю жизнь ты готовил меня к этой ночи». И я **ликовал** и **плакал** от счастья.

* * *

Цель творчества —
самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах
у всех...

И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчеркивая на полях.

Зимние праздники

Будущего недостаточно,
Старого, нового мало.
Надо, чтоб елкою святочной
Вечность средь комнаты стала.

Чтобы хозяйка утыкала
Россыпью звезд ее платье,
Чтобы ко всем на каникулы
Съехались сестры и братья.

Сколько цепей ни примеривай,
Как ни возись с туалетом,
Все еще кажется дерево
Голым и полуодетым.

Вот, трубочиста замаранней,
Взбив свои волосы клубом,
Елка напыжилась барыней
В нескольких юбках раструбом.

Лица становятся каменней,
Дрожь пробегает по свечкам,
Струйки зажженного пламени
Губы сжимают сердечком.

Ночь до рассвета просижена.
Весь содрогаясь от храпа,
Дом, точно утлая хижина,
Хлопает дверцею шкапа.

Новые сумерки следуют.
День убавляется в росте.
Завтрак проспавши, обедают
Заночевавшие гости.

Солнце садится, и пьяницей
Издали, с целью прозрачной
Через оконницу тянется
К хлебу и рюмке коньячной.

Вот оно ткнулось, уродина,
В снег образиною пухлой.
Цвета наливки смородинной,
Село, истлело, потухло.

1959

Единственные дни

На протяженьи многих зим
Я помню дни солнцеворота,
И каждый был неповторим
И повторялся вновь без счета.

И целая их череда
Составилась мало-помалу —
Тех дней единственных, когда
Нам кажется, что время стало.

Я помню их наперечет:
Зима подходит к середине,
Дороги мокнут, с крыш течет,
И солнце греется на льдине.

И любящие, как во сне,
Друг к другу тянутся поспешней,
И на деревьях в вышине
Потеют от тепла скворешни.

И полусонным стрелкам лень
Ворочаться на циферблате,
И дольше века длится день,
И не кончается объятье.

1959

Божий мир

Тени вечера волоса тоньше
За деревьями тянутся вдоль.
На дороге лесной почтальонша
Мне протягивает бандероль.

По кошачьим следам и по лисьим,
По кошачьим и лисьим следам
Возвращаюсь я с пачкою писем
В дом, где волю я радости дам.

Горы, страны, границы, озера,
Перешейки и материки,
Обсужденья, отчеты, обзоры,
Дети, юноши и старики.

Досточтимые письма мужские!
Нет меж вами такого письма,
Где свидетельства мысли сухие
Не выказывали бы ума.

Драгоценные женские письма!
Я ведь тоже упал с облаков.
Присягаю вам ныне и присно:
Ваш я буду во веки веков.

Ну а вы, собиратели марок!
За один мимолетный прием,
О, какой бы достался подарок
Вам на бедственном месте моем!
1959

После перерыва

Три месяца тому назад,
Лишь только первые метели
На наш незащищенный сад
С остервененьем налетели,

Прикинул тотчас я в уме,
Что я укроюсь, как затворник,
И что стихами о зиме
Пополню свой весенний сборник.

Но навалились пустяки
Горой, как снежные завалы.
Зима, расчетам вопреки,
Наполовину миновала.

Тогда я понял, почему
Она во время снегопада,
Снежинками пронзая тьму,
Заглядывала в дом из сада.

Она шептала мне: «Спеши!»
Губами, белыми от стужи,
А я чинил карандаши,
Отшучиваясь неуклюже.

Пока под лампой у стола,
Я медлил зимним утром ранним,
Зима явилась и ушла
Непонятым напоминаньем.
1957

156

156